# Наталия Ивановна Курсевич

# Покаяние

# *Драматический монолог*

## Аннотация

Проблемы этики и нравственности, верности и непостоянства, а также вопросы брака и истинной любви поднимаются Л.Н. Толстым в повести «Крейцерова соната», которая до сих пор вызывает неоднозначную оценку. Данный сценарий, написанный Н.И. Курсевич в виде драматического монолога, открывает возможности для глубоко искреннего разговора актёра со зрителем. Вопросы, в нём освещённые, являются особенно наболевшими в современном обществе, – и тем монолог «Покаяние» актуален.

*Проблемы этики и нравственности, верности и непостоянства, а также вопросы брака и истинной любви поднимаются Л.Н. Толстым в повести «Крейцерова соната», которая до сих пор вызывает неоднозначную оценку…*

Любовь… – что это такое(?)… Я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было… Тяжело молчать…

Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это‑то я считал не только нравственным, но я гордился этим. А ведь в этом‑то и главная мерзость, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это‑то освобождение я и ставил себе в заслугу. Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним.

Да‑с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился *этот* эпизод, а потому, что с тех пор, как случился со мной *этот* эпизод, *у меня открылись глаза, и я увидал всё совсем в другом свете* . Всё навыворот, навыворот!.. Да‑с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть.

…Вот как началось то, что привело меня к моему эпизоду.

Я и не понимал, *что* есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться разврату, начал пить, курить. Помню, мне тотчас же, *там же* , не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да‑с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть.

Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек – блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приёмам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и *это‑то* и погубило меня.

Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! Как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берёт! Как послышишь о золотой молодёжи! И все эти господа, и я, когда мы, бывало, развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, входим чисто‑начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал – эмблема чистоты – прелесть!..

Ведь вы подумайте, чтобы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живёшь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!». Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует, обнимая её, с моей сестрой, дочерью, – мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит… и мою дочь. Если даже и остались следы… – ничего… Мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

Ну, вот так я и жил, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке…. Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счёл достойной себя. …Я решил, что она верх нравственного совершенства и что потому‑то она достойна быть моей женой, и сделал предложение.

Нет, впрочем… Поделом мне! …Ну вот… Я был то, что называется, влюблён. Я не только представлял её себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашёл бы негодяев в каком‑нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах – корысть была ни при чём, не так, как большинство моих знакомых женились из‑за денег или связей, – я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперёд продолжать жить в таком же многожёнстве, в каком они жили до брака; я же имел твёрдое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел. …Подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, – что‑то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

– «Как же, как же бы продолжался род человеческий?..».

– Да вот как бы не погиб род человеческий! Впрочем, извините. Зачем ему продолжаться, роду‑то человеческому?

– «Как зачем? Иначе бы нас не было».

– Да зачем нам быть?

– «Как зачем? Да чтобы жить».

– А жить зачем?..

Если нет цели никакой… если жизнь для жизни нам дана… – незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты, совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель(?)… Так оно и выходит… Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества – благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная – половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута… – и ему незачем будет жить(???)…

Пока же человечество живёт, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит… Выходит, что плотская любовь – это… спасительный клапан(?). Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нём есть страсти, и сильнейшая из них – половая. А есть половая страсть, – и есть новое поколение, – стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении(?). Не достигло и то… – опять следующее… и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино(?)…

А то ведь что бы вышло? Если допустить, что Бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что?.. – То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, Богу надо бы сотворять новых людей… Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего(???)…

…Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим жёнам, а именно – и главное – к своей жене. В нашем же мире как раз обратное: если человек ещё думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его.

…Очень скоро стало мучительно тяжело. Началось это очень скоро…

…Ссоры с женой начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из‑за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее…

Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Я не тогда убил её, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все… Внушите человеку, что ему необходимы водка, табак, опиум, и всё это будет необходимо. Извольте… Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть‑то? Царь природы, человек… Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы – всегда, только бы приятно…

Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чём не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, её характер. Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе… Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека – стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, будет все‑таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора. И я во всё время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим.

Ну‑с, так и жили… Отношения становились всё враждебнее и враждебнее. И наконец дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперёд был не согласен, и точно так же и она. …И спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видать бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряжёнными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство – пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, – думал я на неё, – а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседанье». – «Тебе хорошо, – не только думала, но и говорила она, – а я всю ночь не спала с ребёнком».

Так мы и жили, в постоянном тумане, не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил ещё до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался. Много я передумал, на многое я смотрю по‑иному, и всё это хочется сказать…

В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, всё занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитанье. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту; …а жизнь пустым‑пустешенька. Ну, так мы и жили, и меньше чувствовали боль от сожития… …Жили… и случилось следующее никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело всё то, что произошло.

Я… я расскажу. Да‑с… Она с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта – страдание вечное о детях – стала проходить; не то что проходить, но она как будто опомнилась и увидала, что есть целый мир божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдёт время, не воротишь!». Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: её воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания – любовь. Она вышла замуж, получила кое‑что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий… …Любовь с огаженным и ревностью, и всякой злостью мужем – было уже не то. Ей стала представляться какая‑то другая… – чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про неё… И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего‑то… Я видел это и не мог не тревожиться. …Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого всё и началось.

Да‑с, явился этот человек. …Да‑с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек. …Вот он‑то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что всё случилось из ревности. Ничуть небывало, то есть не то, что ничуть небывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по‑ихнему). И от этого *меня оправдали* . Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

…Отношения её с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для неё тоже. Имеет же смысл… Всё произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем‑то страшным и были особенно поразительны… Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой… Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась…

Так вот в таких‑то мы были отношениях, когда явился этот человек. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая‑то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что *я играл прежде* . Я сказал, что *не играю больше* , но что *жена моя хорошо играет* .

Удивительное дело! Я представил его жене. Тотчас же зашёл разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. …Он, видимо, понравился жене с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице её выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла моё чувство и изменила своё выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок.

…Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. …Но я взглянул на него, на неё. «И не думай, чтоб я ревновал тебя, – мысленно сказал я ей, – или чтоб я боялся тебя», – мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как‑нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. *Я очень любил музыку* и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. *Он играл превосходно* , и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил её игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер, не переставая, мучался ревностью.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) – это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное – музыкой. Люди занимаются вдвоём самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что‑либо нежелательное.

Всё было направлено против неё, в особенности эта проклятая музыка. Так всё и кончилось… собрались гости… …и они играли. Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить…

…Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принёс скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость – робость преимущественно перед своим умением, – с притворным видом села за рояль, и начались обычные lа на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что‑то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьёзное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дёрнул по струнам, и рояль ответил ему. И началось…

Они играли «Крейцерову сонату» Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, – вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, моё истинное положение, она переносит меня в какое‑то другое, не своё положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы «Крейцерову сонату», – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту «Крейцерову сонату», первое престо. Разве можно… сыграть – и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне(??!)… Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом ещё играли по просьбе гостей то «Элегию» Эрнста, то ещё разные вещицы. Всё это было хорошо, но всё это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Всё это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое.

Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такою, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая‑то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я всё это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

«Надо обдумать, – говорил я себе, – правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо рассуждений – картины и представления. «Сколько раз я так мучался, – говорил я себе (я вспоминал припадки ревности), – и потом всё кончалось ничем. О, как хорошо бы это!» – «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет», – говорил мне какой‑то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. *Это было полное сумасшествие!*

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? – ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что‑то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что я так думал, или оттого, что предчувствовал, – не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моём воспоминании получили мрачный оттенок.

…Я долго потом, в тюрьме, после того как *нравственный переворот совершился во мне* , думал о той минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, …желая поправить сделанное и остановить, я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет… – можно ли поправить…

…Я всё стоял, ожидая и не веря, что *поправить нельзя* …

…Я взглянул на детей, на её… – и *в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось всё то, что оскорбляло меня, – вся моя ревность,* я хотел припасть лицом к её руке и сказать: «Прости!»…

– Прости меня, – сказал я.

…В тот же день… меня отвели в тюрьму. И там, дожидаясь суда, я обдумал себя и своё прошедшее, и *понял его* . Начал понимать я… Я начал понимать только тогда, когда увидал её в гробу. …Только тогда, когда я увидал её мертвое лицо, я понял всё, что я сделал. Я понял, что я, я убил её, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя.

Ну… простите… …Да, простите…

\*\*\*

*Я получил и получаю много писем от незнакомых мне лиц, просящих меня объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете рассказа под заглавием «Крейцерова соната». Попытаюсь это сделать, то есть в коротких словах выразить, насколько это возможно, сущность тех выводов, которые, по моему мнению, можно сделать из него.*

Вывод же, который, мне кажется, естественно сделать из этого, тот, что вступление в такое половое общение, при котором люди или освобождают себя от возможных последствий его – детей, или сваливают всю тяжесть этих последствий на женщину, или предупреждают возможность рождения детей, – что такое половое общение есть преступление самого простого требования нравственности, есть подлость, и что потому холостым людям, не хотящим жить подло, надо не делать этого.

Для того же, чтобы они могли воздержаться, они должны, кроме того что вести естественный образ жизни: не пить, не есть мяса и не избегать труда (утомляющего труда), не допускать в мыслях своих возможности общения с чужими женщинами, так же как всякий человек не допускает такой возможности между собой и матерью, сестрами, родными, жёнами друзей. Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдёт вокруг себя сотни.

Это *первое* .

*Второе* то, что в нашем обществе супружеская неверность сделалась во всех слоях общества самым обычным явлением. И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. Для того же, чтобы не делать этого, надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались бы в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до, и после женитьбы смотрели на влюбление и связанную с ним плотскую любовь, как на унизительное для человека животное состояние и, чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением по крайней мере так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевалось бы, как это делается в романах, стихах, песнях, операх и т. д.

Это второе.

*Третье* то, что в нашем обществе, вследствие опять того же ложного значения, которое придано плотской любви, рождение детей потеряло свой смысл и, вместо того, чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений, стало помехой для приятного продолжения любовных отношений и, что потому и вне брака, и в браке, по совету служителей врачебной науки, стало распространяться употребление средств, лишающих женщину возможности деторождения, или стало входить в обычай и привычку то, чего не было прежде в патриархальных семьях: продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении. И полагаю я, что это нехорошо.

Нехорошо употреблять средства против рождения детей, во‑первых, потому, что это освобождает людей от забот и трудов о детях, служащих искуплением плотской любви, а во‑вторых, потому, что это нечто весьма близкое к самому противному человеческой совести действию – убийству. И нехорошо невоздержание во время беременности и кормления, потому что это губит телесные, а главное – душевные силы женщины. Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. А для того, чтобы этого не делать, надо понять, что воздержание, составляющее необходимое условие человеческого достоинства при безбрачном состоянии, ещё более обязательно в браке.

Это третье.

*Четвёртое* то, что в нашем обществе, в котором дети представляются или помехой для наслаждения, или несчастной случайностью, или своего рода наслаждением, когда их рождается вперёд определённое количество, – эти дети воспитываются не в виду тех задач человеческой жизни, которые предстоят им как разумным и любящим существам, а только в виду тех удовольствий, которые они могут доставить родителям. И что, вследствие этого, дети людей воспитываются как дети животных, – так что главная забота родителей состоит не в том, чтобы приготовить их к достойной человека деятельности, а в том (в чем поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной), чтобы как можно лучше напитать их, увеличить их рост, сделать их сытыми, красивыми.

И в изнеженных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая чувственность, составляющая причину страшных мучений этих детей в отроческом возрасте. Наряды, чтения, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей, и поэм, ещё более разжигают эту чувственность, – и, вследствие этого, самые ужасные половые пороки и болезни делаются обычными условиями вырастания детей обоего пола и часто остаются и в зрелом возрасте.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать воспитывать детей людей, как детей животных, и для воспитания людских детей поставить себе другие цели, кроме красивого, выхоленного тела.

Это четвёртое.

*Пятое* то, что в нашем обществе, где влюбление между молодым мужчиной и женщиной, имеющее в основе все‑таки плотскую любовь, возведено в высшую цель стремлений людей. Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать думать, что любовь плотская есть нечто особенно возвышенное, а надо понять, что цель, достойная человека, – служение ли человечеству, Отечеству, науке, искусству ли (не говоря уже о служении Богу) – какая бы она ни была, если только мы считаем её достойной человека, не достигается посредством соединения с предметом любви в браке, или вне его, а что, напротив, влюбление и соединение с предметом любви (как бы ни старались доказывать противное) никогда не облегчает достижение достойной человека цели, но всегда затрудняет его. Это пятое.

Мне казалось, что не согласиться с этими положениями нельзя, во‑ первых, потому, что положения эти вполне согласны с прогрессом человечества, всегда шедшим от распущенности к большей и большей целомудренности, и с нравственным сознанием общества, с нашей совестью, всегда осуждающей распущенность и ценящей целомудрие; и, во‑вторых, потому, что эти положения суть только неизбежные выводы из учения Евангелия, которые мы или исповедуем, или, по крайней мере, хотя и бессознательно, признаем основой наших понятий о нравственности.

Никто, правда, прямо не оспаривает положение о том, что развратничать не надо до брака, не надо и после брака, что не надо искусственно уничтожать деторождение, что не надо из детей делать забавы и не надо ставить любовное соединение выше всего остального, – одним словом, никто не спорит о том, что целомудрие лучше распущенности. Но говорят: «Если безбрачие лучше брака, то очевидно, что люди должны делать то, что лучше. Если же люди сделают это, то род человеческий прекратится, и потому не может быть идеалом рода человеческого уничтожение его». Говорят: «Если люди достигнут идеала полного целомудрия, то они уничтожаются, и потому идеал этот не верен». Но те, которые говорят так, умышленно или неумышленно смешивают две разнородные вещи – правило, предписание и идеал.

Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал или, скорее, – одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему – бесконечна. *Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли б представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом.* Таков идеал Христа, – установление царства Бога на земле, идеал, предсказанный ещё пророками о том, что наступит время, когда все люди будут научены Богом, перекуют мечи на орала, копья на серпы, лев будет лежать с ягненком и когда все существа будут соединены любовью. Весь смысл человеческой жизни заключается в движении по направлению к этому идеалу, и потому стремление к Христианскому идеалу во всей его совокупности и к целомудрию, как к одному из условий этого идеала, не только не исключает возможности жизни, но, напротив того, отсутствие этого христианского идеала уничтожило бы движение вперёд и, следовательно, возможность жизни.

Суждение о том, что род человеческий прекратится, если люди всеми силами будут стремиться к целомудрию, подобно тому, которое сделали бы (да и делают), что род человеческий погибнет, если люди, вместо борьбы за существование, будут всеми силами стремиться к осуществлению любви к друзьям, к врагам, ко всему живущему. Суждения такие вытекают из непонимания различия двух приёмов нравственного руководства.

Как есть два способа указания пути ищущему, указания путешественнику, так есть и два способа нравственного руководства для ищущего правды человека. Один способ состоит в том, что человеку указываются предметы, долженствующие встретиться ему, и он направляется по этим предметам. Другой способ состоит в том, что *человеку даётся только направление по компасу, который человек несёт с собой и на котором он видит всегда одно неизменное направление и потому всякое своё отклонение от него.*

Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил: человеку даются определённые признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать. «…Не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись… и т. п.». Таковы постановления внешних религиозных учений… Другой способ есть способ указания человеку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознаёт в себе: человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него. «Люби Бога твоего всем сердцем, и всею душой твоей, и всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Таково учение Христа.

Поверка исполнения внешних религиозных учений есть совпадение поступков с определениями этих учений, и совпадение это возможно. Поверка исполнения Христова учения есть сознание степени несоответствия с идеальным совершенством. (Степень приближения не видна: видно отклонение от совершенства).

Человек, исповедующий внешний закон, есть человек, стоящий в свете фонаря, привешенного к столбу. Он стоит в свете этого фонаря, ему светло, и идти ему дальше некуда. *Человек, исповедующий Христово учение, подобен человеку, несущему фонарь перед собой на более или менее длинном шесте: свет всегда впереди его и всегда побуждает его идти за собой и вновь открывает ему впереди его новое, влекущее к себе освещённое пространство.*

Фарисей благодарит Бога за то, что он исполняет всё. Богатый тоже исполнил всё с детства и не понимает, чего может недоставать ему. И они не могут думать иначе: впереди их нет того, к чему бы они могли продолжать стремиться. Десятина отдана, прелюбодеяния, воровства, убийства – нет. Чего же ещё? Для исповедующего же христианское учение *достижение всякой ступени совершенства вызывает потребность вступления на высшую ступень, с которой открывается ещё высшая, и так без конца.* Исповедующий закон Христа всегда в положении мытаря. Он всегда чувствует себя несовершенным, не видя позади себя пути, который он прошёл, а видя всегда впереди себя тот путь, по которому ещё надо идти и который он не прошёл ещё.

В этом состоит различие учения Христа от всех других религиозных учений, различие, заключающееся не в различии требований, а в различии способа руководства людей. Христос не давал никаких определений жизни, он никогда не устанавливал никаких учреждений… Но люди, не понимающие особенности учения Христа, привыкшие к внешним учениям и желающие чувствовать себя правыми, как чувствует себя правым фарисей, противно всему духу учения Христа, из буквы его сделали внешнее учение правил, называемое церковным христианским учением, и этим учением подменили истинное Христово учение идеала.

Для многих и многих мысли эти покажутся странными и даже противоречивыми. И они действительно противоречивы, но не между собой, а мысли эти противоречат всей нашей жизни, и невольно является сомнение: кто прав? – мысли ли эти, или жизнь миллионов людей и моя? Это самое чувство испытывал и я в сильнейшей степени, когда приходил к тем убеждениям, которые теперь высказываю: я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведёт меня к тому, к чему он привёл меня. И как ни противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как ни противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их.

В том‑то и беда, что, позволив себе принижать идеал по своей слабости, нельзя найти того предела, на котором надо остановиться. Но ведь это рассуждение с самого начала неверно; неверно прежде всего то, чтобы идеал бесконечного совершенства не мог быть руководством в жизни и, чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть рукой, сказав, что он мне не нужен, так как я никогда не достигну его, или принизить идеал до тех ступеней, на которых хочется стоять моей слабости. Рассуждать так – всё равно что мореплавателю сказать себе, что так как я не могу идти по той линии, которую указывает компас, то я выкину компас, или перестану смотреть на него, то есть отброшу идеал, или прикреплю стрелку компаса к тому месту, которое будет соответствовать в данную минуту ходу моего судна, то есть принижу идеал к моей слабости.

*Идеал совершенства, данный Христом, не есть мечта или предмет риторических проповедей, а есть самое необходимое, всем доступное руководство нравственной жизни людей, как компас – необходимое и доступное орудие руководства морехода; только надо верить, как в то, так и в другое. В каком бы ни находился человек положении, всегда достаточно учения идеала, данного Христом, для того чтобы получить самое верное указание тех поступков, которые должно и не должно совершать* . Но надо верить этому учению вполне, этому одному учению, перестать верить во все другие, точно так же, как надо мореходу верить в компас, перестать приглядываться и руководиться тем, что он видит по сторонам. Надо уметь руководствоваться христианским учением, как уметь руководствоваться компасом, а для этого, главное, надо понимать своё положение, надо уметь не бояться с точностью определять своё отклонение от идеального данного направления.

На какой бы ступени ни стоял человек, всегда есть для него возможность приближения к этому идеалу, и никакое положение для него не может быть таким, в котором бы он мог сказать, что он достиг его, и не мог бы стремиться к ещё большему приближению. Таково стремление человека к христианскому идеалу вообще и таково же к целомудрию в частности. Если представить себе по отношению полового вопроса самые различные положения людей – от невинного детства до брака, – в которых не соблюдается воздержание, – на каждой ступени между этими двумя положениями учение Христа с выставляемым им идеалом будет всегда служить ясным и определённым руководством того, что должно и не должно на каждой из этих ступеней делать человеку.

Что делать чистому юноше, девушке? Соблюдать себя чистыми от соблазнов и, для того чтобы быть в состоянии все свои силы отдать на служение Богу и людям, стремиться к большему и большему целомудрию мыслей и желаний. Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощённым мыслями о беспредметной любви, или о любви к известному лицу – и потерявшим от этого, известную долю, возможности служить Богу и людям? Всё то же: не попускать себя на падение, зная, что такое попущение не освободит от соблазна, а только усилит его, и всё так же стремиться к большему и большему целомудрию для возможности более полного служения Богу и людям.

Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на своё падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, ни как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, ни как на несчастие, когда падение совершается с неровней и без обряда, а смотреть на это, как на вступление в неразрывный брак. Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием – рождением детей – определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения Богу и людям. До брака человек непосредственно в самых разнообразных формах мог служить Богу и людям; вступление же в брак ограничивает его область деятельности и требует от него возращения и воспитания происходящего от брака потомства, будущих служителей Богу и людям.

Что делать мужчине и женщине, живущим в браке и исполняющим то ограниченное служение Богу и людям, через возращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения? Всё то же: стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, заменой отношений, препятствующих и общему, и частному служению Богу и людям, заменой плотской любви чистыми отношениями сестры и брата.

И потому неправда то, что мы *не можем руководиться идеалом Христа, потому что он так высок, совершенен и недостижим.* Мы не можем руководиться им только потому, что мы сами себе лжём и обманываем себя. Ведь если мы говорим, что нужно иметь правила более осуществимые, чем идеал Христа, а то иначе мы, не достигнув идеала Христа, впадём в разврат, мы говорим не то, что для нас слишком высок идеал Христа, а только то, что мы в него не верим и не хотим определять своих поступков по этому идеалу.

Христианское учение идеала есть то единое учение, которое может руководить человечеством. Нельзя, не должно заменять идеал Христа внешними правилами, а надо твёрдо держать этот идеал перед собой во всей чистоте его и, главное, верить в него. Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держитесь того возвышения, мыса, башни» и т. п.

Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое *дано нам* .

09.09.2020